

В БАЛЧЕКРОВИЙ

КОРОНАЦИЯ ЗВЕРЯ

роман



Москва
2016

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б86

Художественное оформление серии
Петра Петрова

Бочков, Валерий Борисович.

Б86 Коронация Зверя / Валерий Бочков. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 352 с. — (Рискованные игры).

ISBN 978-5-699-90420-4

Президент убит, Москва в огне, режим пал, по Красной площади гарцует султан на белом коне. Что будет дальше, не знает никто, даже захватившие власть, ситуация меняется с каждым часом... В наступившем хаосе социолог Дмитрий Незлобин ищет своего сына, чтобы спасти от гибели. Но успеет ли, сможет ли?

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-90420-4

© **Бочков В., 2016**
© **Оформление.**
ООО «Издательство «Э», 2016

ПРОЛОГ

Отец любил повторять: «Каждый день живи так, будто это твой последний день. Однажды ты окажешься прав на все сто».

Для ресторанного саксофониста — достаточно скептический взгляд на вещи. Отец был музыкантом средней руки, не звездой, но вполне крепким профессионалом. Именно такие выдувают свои хриплые трели в джаз-оркестрах солидных ресторанов с дубовым паркетом и янтарными плафонами. Или играют на коктейлях и приемах, где кавалеры в смокингах кружат бледных дам с голыми спинами. Или развлекают сонных путешественников на шикарных океанских круизах.

Корабль назывался «Ливадия»; он казался мне произведением искусства, неземным, почти волшебным созданием. Пугал размерами. Из воды торчала циклопическая якорная цепь, мокрая и черная. Она уходила вверх и исчезала в клюзе, который маячил на жуткой верхотуре — никак не ниже пятого этажа. Над горизонтом плавилось

остывающее солнце, ровный круг, похожий на распахнутую дверь в пылающую топку. Было шесть часов вечера.

Под навесом пирса царила нервная суета. От воды тянуло соленой сыростью. Отец курил, энергично прикусив золотой ободок сигареты, в одной руке — перетянутый ремнями рыжий скрипучий чемодан, в другой — концертный фрак в пластиковом мешке. Щурясь от дыма, отец весело оглядывал галдящую толпу поверх голов, словно искал знакомых. Саксофон в черном футляре с почти королевским вензелем «ВК» он доверил мне.

Быстрые чайки с изнанки отсвечивали зеленым, а когда солнце коснулось воды, птицы вдруг стали розовыми. Стемнело почти сразу, закат выдохся, оставив сливовую полосу вдоль горизонта. «Ливадия» выдержала паузу и торжественно зажгла огни.

Проступая смутным, могущественным силуэтом и туманно сияя желтыми иллюминаторами, она, точно сказочный великан, загородила половину фиолетового неба. Корабль казался мне куском города — живым, обитаемым и шумным, по непонятной причине сползшим в море. Где-то рядом, перекрывая гулкое многоголосое эхо, затарахтела корабельная лебедка.

Пассажиры гуськом ползли вверх по трапу, озабоченно поглядывая вниз и назад. Смотрели туда — на пирс, на сушу, маясь в сумрачном чистилище каждого странника — считая муторные минуты между надоевшим прошлым и тревожным, но наверняка чудесным будущим. Ведь любое путешествие всегда выбор: еще есть время передумать, еще можно порвать билет, сдуть розово-голубое конфетти обрывков в черноту подтрапья. Еще есть время вернуться. Остаться в знакомом, пусть надоевшем своей

обыденностью, но привычном мире. На твердой и надежной земле.

Вздохнув, словно спросонья, «Ливадия» подала голос. У корабельной сирены был тоскливый округлый бас, протяжный и тревожный. «До-диез», — подмигнул мне отец и показал куда-то вверх. Я поднял голову — там на верхней палубе застыл первый помощник капитана, строгий и невозмутимый, в белом кителе с золотыми галунами. За его спиной угольным минаретом высилась корабельная труба. Еще выше сияли звезды — мой глаз безошибочно выхватил три голубых бриллианта на поясе Ориона.

По палубе деловито проталкивались стюарды, юркие и изящные, они напоминали форель, идущую против течения. Медным набатом гудел гонг, от протяжного звона ныли зубы, кто-то простуженным баритоном повторял по радио, что до отправления осталось пятнадцать минут.

Отец остановил стюарда, показал билет.

Нас повели куда-то вниз. Повели узкими покатыми коридорами, тесными крутыми лестницами, через закоулки и лабиринты, мимо дверей с латунными цифрами. Шли целую вечность, мне казалось, что мы спускаемся в самое чрево могучего зверя. Я уже предвкушал увидеть его сердце — машинное отделение с циклопической турбиной, чугунные шестеренки, нет, шестерни высотой с дом, сияющие сталью поршни и шатуны. И там среди железа и жара — снующих в багровом мраке механиков и кочегаров. Сильных и ловких, блестящих от пота и черных от копоти, точно бесы в преисподней.

Стюард распахнул дверь, и мы оказались в нашей каюте. Я разочарованно опустил футляр на пол — вместо пиратских гамаков здесь были две вагонные полки. Вообще,

если бы не иллюминатор, можно было бы решить, что ты в затрапезном купе ночного поезда. Отец оглядел жилище, сунул стюарду мятую купюру, сильной ладонью подтолкнул меня к выходу.

Мы снова оказались на палубе; теперь можно было спокойно оглядеться. Протиснулись к самому борту. Стало понятно высокомерие помощника капитана — сверху пирс выглядел bestолковым нагромождением построек и механизмов, освещенных белым больничным светом портовых прожекторов. Суевливая толчея провожающих вдруг улеглась, бледные пятна лиц застыли. Матросы отдали швартовы, потянулся наверх скрипучий трап. Якорная цепь тяжело заворчала, из воды показался огромный якорь, словно облитый черным лаком, он неспешно пополз вверх.

«Ливадия» вздрогнула. Я всем телом ощутил эту дрожь, точно внутри великана ожило мощное сердце. Вздрогнули портовые краны, вздрогнула темно-оранжевая башня собора с огромными часами. На освещенном циферблате стрелка воткнулась в десятку, и корабль, долго притворявшийся частью причала, наконец откололся от суши. Поплыли! От счастья у меня вспотели ладошки.

Лица на пирсе стали отодвигаться, фонари тронулись и тоже поплыли. Поплыли портовые краны, башня собора, острые, как пики, кипарисы на холме, поплыл и сам холм с мохнатым парком и серебряным куполом планетария. Тронулся и поплыл вечерний город. Мне стало жутко и радостно, я перегнулся, вглядываясь в неумолимо расширяющееся ущелье — там мерцала узкая полоска чернильной воды. Она ширилась, ширилась.

Пирс отодвинулся неожиданно быстро: когда я оторвал взгляд от воды, причал уже превратился в мутное

пятно на берегу. Город потускнел, растянулся вдоль берега и стал похож на путаницу новогодних гирлянд. Он теперь зримо уходил назад. Появилось странное чувство — смесь легкой грусти с ощущением свободы. Ощущение свободы росло, были в нем и страх, и тихий восторг, и предвкушение чего-то неизвестного, но непременно интересного. Может быть, даже опасного. Я еще раз взглянул на полоску тусклых огней и улыбнулся: все, что осталось там, на берегу, вдруг перестало иметь значение, все стало скучным и совсем неважным.

Притихшие пассажиры рассеянно потянулись по каютам. Стало свободнее, рядом с нами оказалась глазастая брюнетка с ярким ртом, красным, как мокрый леденец. Она громко смеялась — это отец что-то азартно рассказывал ей. От брюнетки приторно пахло прелыми розами. У нее была белая шея с голубоватой жилкой, как у грудного ребенка. Мне стало противно, и я снова повернулся к морю. Земля пропала, от города остался едва уловимый отсвет, похожий на снежную пыль, да еще тусклый глаз маяка, уныло моргающий с безнадежным упрямством.

Брюнетку как-то звали, Лола или Нона, что-то созвучное с цветом ее липких губ. Я подглядывал, как отец целовал ее на корме за шлюпками, как она закидывала назад голову и глухо смеялась, словно полоскала горло. А отец мял ее грудь в белой блузке, отвратительно яркой на фоне бархатного неба. И сонная звезда, прочертив дугу, тихо падала в лиловое море.

Отец был однолюбом. Все его девицы с большим или меньшим успехом могли бы сойти за мою мать. Внешне, разумеется. При определенном освещении, под нужным углом,

при достаточной удаленности или неважном зрении. Я уверен, что отец любил мать не меньше меня. Мы оба тосковали без нее, просто каждый по-своему. В апреле мне стукнуло двенадцать, отцу еще не исполнилось сорока.

Мать мне всегда вспоминается почему-то зимняя — в морозной шубе с холодным, звериным духом пушистой шерсти. Вот она осторожно ступает мелкими шагами по нашим обледенелым мостовым, с изящной осторожностью, грациозная, как циркачка на звонкой проволоке под самым куполом. Живое дыхание искрится мутным паром в желтых фонарях, тихий смех, тонкие пальцы — все это где-то в районе Кудринской. Пахнет елкой, хрустит снег, плитка шоколада тает в моем кармане. Уже нет и Кудринской, нет матери, уже почти нет и меня.

Тогда, на палубе, я больше всего боялся, что отца застукают. Выйдут на корму какие-нибудь пассажиры полюбоваться ночным небом или появится строгий помощник капитана с золотыми галунами. Не знаю, почему меня это так тревожило. Я прятался в полосатой тени шезлонгов, кусал губы. Ледяная рубаша прилипла к спине, я прислушивался к странным корабельным звукам — утробному гулу, низкому, на одной басовой ноте, к мощи гигантского мотора, к плеску воды где-то внизу. К стонам Лолы или Ноны.

Наконец все закончилось. Они сидели у лодки, закрытой брезентом и похожей на спящего носорога. Лола (пусть будет Лола) нашла свой лифчик, сунула его в сумку, звонко щелкнув кнопкой. Отец затаился, выдул дым сизым столбом вверх, передал сигарету девице. Лоле. Дотянулся до бутылки, запрокинув голову, сделал несколько глотков. Заговорил. Голос был странный, монотонный, таким бредят или разговаривают во сне. Речь шла обо мне.

— Я будто стесняюсь своей любви к нему. А ведь это самая естественная вещь на земле — любовь отца к сыну. — Он замолчал и добавил: — Ну, не считая любви матери, но в нашем случае...

Мне было стыдно и страшно. Стыдно от того, что он, мой отец, вот так, в легкую, раскрывает душу первой повернувшейся дуре-девке, этой Лоле-Ноне. Этой безмозглой кукле. Страшно, что я сейчас услышу что-то такое, после чего уже невозможно будет жить по-старому.

— Это единственная страсть, которую я не способен выразить. На выходе из моей души обнаруживается постный бульон. Вроде бесплатного супа... Бесплатный суп, которым я кормлю самого близкого мне человека. Душевная инвалидность какая-то...

Он вынул сигарету из Лолиных пальцев, глубоко затянулся.

— Я вспоминаю своего отца... — Он выпустил дым. — Вспоминаю ту же неловкость жестов, казенность слов. От чего? И почему я прохожу тот же путь? Мучительный и глупый. Почему я не лучше, не умнее? Почему я ничему не научился? Ведь я на своей шкуре все это испытал и совсем не хочу того же для своего сына!

Отец щелчком выбросил сигарету. Окурок не перелетел через борт, а, ударившись в поручень, рассыпался рыхим фейерверком. Повисла тишина, потом где-то на нижней палубе уронили поднос, полный стекла.

Память собрала странную коллекцию событий, лиц, фраз, необъяснимую своей случайностью, эклектичностью. Я отчетливо помню тот оранжевый фейерверк и тот стеклянный звон. Почему именно это? Полное отсутствие си-

стемы, элементарной логики, меня, человека вполне рационального, отчасти расстраивает. Почему застрял в памяти стюард в тесном кителе и с острым кадыком, на кадыке рубиновый штрих — порез от бритвы, зачем мне нужен каютный запах — странная смесь прибоя и прачечной, отчего я не могу вытрясти из головы ту толстую тетку — она валялась на палубе, как глупая кукла с голыми грязными пятками, а на нее наступали бегущие ноги пассажиров? Эти пустяковые обрывки, туманные и безобидные, имеют гнусное свойство (обычно ночью, под утро) сплетаться в крепкую петлю, уверенно стягивающую мой мозг, мое сердце, мою волю.

Третий вечер на «Ливадии». Мы неслись на запад, в сторону малинового солнца, большого и страшного, как окно в ад. В круглой дыре жидко пульсировала лимонная лава, пузырилась ртуть. Солнце коснулось горизонта и будто сплющилось, я стоял на носу и до слепоты пялился в страшную дыру в небе. Еще страшнее была та спешка, с которой «Ливадия» неслась вперед. От вибрации зудели руки, сжимавшие горячий поручень, щекотало в небе, палуба под подошвами моих теннисных тапок тревожно гудела. Мы шпарили так, словно боялись опоздать.

Ну и конечно, опоздали — солнце село без нас.

В тот вечер отец играл Дебюсси. Играл отменно, звук получался летящий, яркий и светлый. Почти божественный. Может, это был какой-то тайный знак оттуда, сверху? То особое состояние, когда каждое дивное глиссандо за тебя выдувал чуткий ангел и мелодия сама сплеталась в идеальный узор, отец называл «экстазом святой Терезы». По его признанию, случалось такое не часто.

Отец, подавшись вперед, стоял на самом краю полукруглой эстрады, золотой «Бюффе-Крампон» сиял в его руках, как языческий идол. Будто жрец в трансе, отец чуть покачивался в такт, словно помогал звукам, нежно подталкивая их в зал, к людям. Люди по большей части пили, смеялись и болтали. Не слушали. Я не уверен, что, кроме нас двоих, кто-то вообще понимал, насколько волшебным играл сегодня отец. Разумеется, за исключением ангела, причастного к процессу, уж он-то наверняка знал, что тут творится.

Я разглядывал пассажиров, постепенно наливаясь злобой ко всем этим тугоухим обжорам и пьяницам, к их хохочущим подругам, которых я уже почти поголовно классифицировал как рыбообразных и птицеподобных. В исключение угодили две хавроньи — маленькая и покрупней, да еще картонный муляж моей мамы по имени Лола. Было девять часов вечера. Никто, включая меня, не знал, что через четыре с половиной часа «Ливадия» налетит на плавучую мину, начнется пожар, двери между перегородками не выдержат напора воды и корабль затонет через сорок пять минут после взрыва. Экипаж успеет спустить всего четыре шлюпки. Спасется тридцать два человека.

В момент взрыва я был на палубе. Началась паника. Какой-то матрос — спаси бог его душу, — нацепил на меня спасательный жилет и выкинул за борт. Я видел, как на корабле что-то взорвалось. Столб белого огня полыхнул до самых звезд, осветив пустынную воду от края до края. Тугое эхо укатилось за горизонт, и сразу раздался железный стон, протяжный и жуткий, словно кто-то решительно смял стальной лист. Корпус корабля сложился пополам, и за несколько минут «Ливадия» ушла на дно. Меня накрыло волной, я потерял сознание. Очнулся я в шлюпке.

Четыре месяца я провалялся в больнице: сначала лечили пневмонию, потом перевели в психушку. С пневмонией все понятно — вода в конце сентября была ниже двадцати, психушка же требует некоторых разъяснений.

Меня уверяли, что отец погиб — утонул. При этом тело его не нашли. Поначалу я жарко спорил, пытался что-то объяснить, рассказать. А мне было что им рассказать. Врачи внимательно слушали мою историю, не возражали; для них мое поведение идеально укладывалось в «типичный патогенез посттравматического стрессового расстройства, вызванного единичной психотравмирующей ситуацией». Улыбчивая покладистость докторов и благодушная меланхолия от нарастающего числа разноцветных пилюль начали меня пугать, и я решил притвориться, что поверил в смерть отца и что моя навязчивая история была всего лишь галлюцинацией.

Дело в том, что когда я очнулся в шлюпке, там никого не было. Никого, кроме меня и отца. Он сидел на веслах, лицом ко мне. В белой фрачной рубаше с закатанными рукавами и черной бабочкой на шее. Он греб, упруго откидываясь назад всем телом и снова устремляясь вперед. Уже рассвело, и я отчетливо видел в молочной утренней мути его потные руки и белые костяшки крепких кулаков, сжимающих весла.

1

Автобус затормозил, остановился. Мотор продолжал тарыхтеть. Снаружи зашаркали ноги, кто-то выругался, крикнул:

— Открывай, чего ждешь?

Шофер огрызнулся, сплюнул и заглушил движок. Я услышал, как открылась дверь. Напряг руки: сталь на ручников до боли врезалась в запястья, я в который раз, компактно сгруппировав пальцы, попытался вытащить кисть — дохлый номер, Гудини из меня совсем неважный. Мешок на голове, стянутый у подбородка, мешал дышать. Сквозь вонючую тряпку угадывались пятна света, какие-то тени. Кто-то протопал по ступенькам, поднялся в автобус.

— Чего, только двое?

Я инстинктивно вжался в сиденье и зачем-то зажмурился. Чьи-то руки ухватили меня за воротник, потянули. Я послушно встал, сделал шаг, зацепился и грохнулся на пол. Кто-то, лягнув меня в ребра, заржал:

— Гляди, разлегся! Вот сволочь!

Шофер заржал в ответ.

Встать без помощи рук оказалось непросто, чертов мешок лез в рот, от тряпки воняло гнилым луком. Я ударился

подбородком, но кое-как поднялся, мелко переступая, пошел по проходу.

— Стой! — Это шофер. — Ступеньки там...

Я застыл, плечом уткнулся в штангу у выхода. Начал шарить носком ботинка. Нащупал невидимый край, сделал шаг вниз, еще один. Земля оказалась ближе, чем мне казалось.

— Пошли! — Чьи-то крепкие руки, ухватив меня за куртку, куда-то потянули.

Мы шли по щебенке, вдали бубнило радио, передавали новости.

— Где майор? — спросил мой провожатый; у него был голос с южным, малороссийским говорком.

— А кто ж его знает!

Хлопнула дверь, мы вошли в какое-то помещение, тот же голос предупредил:

— Ступеньки!

Мы прошли гулким вестибюлем, вокруг слышались голоса, шаркали подошвы, где-то наверху надрывно ругалась женщина. Я снова споткнулся, провожатый, поймав меня за шкирку, выматерился.

— Погоди... — Его «г» звучало как «х». — Где майор? — снова спросил он у кого-то.

— Внизу, у себя. А зачем к майору?

— Я думал...

— Меньше думай! Давай его в накопитель, в общий. Там разберутся...

— Разберутся... — буркнул провожатый и стянул с моей головы мешок. — Пошел наверх!

Провожатый, совсем молодой парень в камуфляжном комбинезоне, подтолкнул меня в сторону лестницы. Я оглянулся: мы были в школьном вестибюле: справа — гардероб, слева — вход в столовую, посередине —

дверь с табличкой «Медпункт». Я сам когда-то отмотал десять бесконечных лет точно в таком же здании на Пречистенке.

Мы прошли по лестнице, поднялись на второй этаж, мимо проскочили санитары с пустыми носилками. «Дурная примета», — подумал я, тут же вспомнив, что она про ведра. Меня втолкнули в просторную комнату, очевидно, кабинет истории. Над коричневой доской висел цветной портрет Петра Первого, похожего на удивленного кота, рядом был приклеен лист ватмана с цитатой, старательно написанной плакатным пером: «Кто не знает истории, обречен повторять ошибки прошлого». Подписи не было.

За учительским столом два типа в штатском листали какие-то бумаги, перед ними лежала кипа разноцветных паспортов, валялись какие-то документы с фиолетовыми печатями. Столы и стулья были сдвинуты в угол класса, в другом углу молча теснилась небольшая толпа человек в пятнадцать, по виду иностранцы. Все явно нервничали. Провожатый пихнул меня к ним, сам подошел к столу. Один из штатских что-то ответил, поднял на меня глаза.

— Подойти! — негромко приказал он.

Я подошел, перед ним лежали два мои паспорта.

— Незлобин? — прочитал он мою фамилию в бордовом паспорте.

Я кивнул.

— Отвечать словами! — неожиданно заорал он. Его глаза за маленькими стеклами круглых очков в черной оправе по-рачьи выпучились.

— Да, — ответил я. — Незлобин.

— Двойное гражданство? — Он раскрыл мой синий паспорт.

— Нет. Я американский гражданин.

— Стало быть, это фальшак? — Он помахал паспортом с двуглавым орлом и зло шлепнул его на стол. — Липа?

— Вам видней. Мне его выдали в вашем консульстве год назад. В Нью-Йорке.

— А подробней можно? — спросил его напарник, линиялый блондин с рыбьим лицом.

— Меня пригласили на конференцию, в Питер. Весной, прошлым апрелем, кажется... Там печати должны быть — въезд, выезд. Я просил поставить визу в мой американский паспорт, сотрудник консульства сказал, что проще будет сделать новый паспорт, российский...

Линялый взял русский паспорт, внимательно начал его листать.

В классе стоял спертый школьный дух — смесь мела, мокрой тряпки и страха. За плотно закрытыми окнами пестрели пыльные тополиные листья, уже было много желтых. Слишком много желтых для конца августа, подумал я, пытаюсь вспомнить, какое сегодня число.

— А что за конференция? — спросил линиялый, не поднимая головы.

— Вторая мировая война. Международная конференция... Я преподаю в Колумбийском университете.

— Войну преподаете? — не удержался и съязвил линиялый.

— Социологию.

Линялый наклонился к напарнику, загородив губы ладонью, что-то сказал ему в ухо. Тот кивнул.

— Коломеец! — гаркнул он. — Этого тоже в обезьянник.

Никаких обезьян: то, что он называл обезьянником, на самом деле оказалось школьным подвалом. Конвойный снял с меня наручники, впихнул в тесную комнату

и захлопнул дверь. Вдоль стен стояли лавки, крашенные коричневой краской, такой же краской были покрашены стены и потолок. Из трех лампочек горела одна, да и та еле-еле. В углу сидел миниатюрный мужчина, почти карлик, я сначала подумал, что это мальчишка.

— Шпрехен зи дойч? — настороженно спросил карлик.

Я владел немецким вполне сносно, запросто и без словаря читал «Шпигель», но из-за отсутствия разговорной практики постоянно сбивался на английский. Я сообщил ему об этом.

— У меня та же история с испанским, — тихо признался он. — Стоит забыть слово, тут же выскакивает французский эквивалент. Вы русский?

— Отчасти.

Над лавками к стене были прибиты доски с рядом крючков. И доски, и крючки тоже были выкрашены коричневой краской. Я посмотрел под ноги — маляр-маньяк не забыл и про пол. Я подошел к двери, тоже, разумеется, коричневой: это была толстая железная дверь с двумя запорами, как на корабле. Подвал мог служить убежищем на случай химической атаки — так по крайней мере рассказывали в моей школе.

— Это раздевалка... — догадался я. — Физкультурная раздевалка.

— Что? — настороженно улыбнулся карлик. — Что вы имеете в виду?

— Там спортивный зал. — Я указал в стену. — А тут раздевалка, школьная раздевалка. Для девочек.

На двери кто-то выцарапал чем-то острым, наверное, ключом (я в свое время для этой цели всегда пользовался английским ключом от нашей квартиры): «Алка — сос». Конец второго слова был затерт, скорее всего — самой Алкой.

— Что тут происходит? — шепотом спросил карлик. — Вы хоть что-нибудь понимаете?

Он встал и бесшумно подошел почти вплотную ко мне.

— Я прилетел в пятницу, ездили в Загорск, потом Третьяковка, что еще? — Он растерянно посмотрел на меня собачьим взглядом. — У меня билет на завтра. Восемь сорок... В восемь сорок утра вылет. Вы думаете, меня...

— Думаю, да, к вечеру все утрясется, — наверное, с излишней беспечностью сказал я. — Устаканится, как они тут говорят.

Карлик не понял моего перевода русской идиомы на немецкий, но улыбнулся, продолжая смотреть мне в глаза снизу вверх. Сквозь вонь масляной краски пробивался запах пота; я провел пальцами по двери, краска была скользкая, недавняя. Наверное, красили к началу учебного года.

— Какое сегодня число? — спросил я.

— Двадцать восьмое. Двадцать восьмое августа.

Да, наверное, красили к первому сентября. Я сел на лавку, вытянул ноги.

— У вас нет сигарет? — Карлик сел рядом, аккуратно сложил ладони, точно собирался молиться.

— Бросил... — Я прикинул в уме. — Уже шестнадцать лет не курю.

— Да я тоже... Просто подумалось...

— Не нервничайте. Улетите завтра в свою Германию.

— В Австрию, — поправил он. — Я из Линца.

— Серьезно? — Я уставился на него. — Бывают же совпадения!

— Что, вы тоже из Линца? — недоверчиво спросил он.

— Нет, нет. Я пишу как раз сейчас про Линц...

— А-а, — разочарованно опустил голову карлик. — Про него пишете?